

Владимир Александрович Соллогуб

История двух калош



Владимир Соллогуб

История двух калош

«Public Domain»

Соллогуб В. А.

История двух калош / В. А. Соллогуб — «Public Domain»,

Содержание

Владимир Александрович Соллогуб	5
ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ПРИГЛАШЕНИЕ НА БАЛ	6
ДЕТСТВО	8
МОЛОДОСТЬ	10
КНЯГИНЯ	12
Конец ознакомительного фрагмента.	13

Владимир Александрович Соллогуб

ИСТОРИЯ ДВУХ КАЛОШ

Посвящено М. Ф. Козловой

ПРЕДИСЛОВИЕ

Pereant qui ante nos nostra dixerunt.
Goethe¹

Я так много в жизни свое ходил пешком, я столько в жизни своей переносил калош, что невольно вселилась в душе моей какая-то особенная нежность ко всем калошам. Не говоря уже о неоспоримой их пользе, как не быть тронутым их скромностью, как не пожалеть о горькой их участи? Бедные калоши! Люди, которые исключительно им обязаны тем, что они находятся на приличной ноге в большом свете, прячут их со стыдом и неблагодарностью в уголках передней; а там они, бедные, лежат забрызганные, затоптанные, в обществе лакеев, без всякого уважения. И как, скажите, не позавидовать им блестящей участи своих однослуживок, счастьем избалованных лайковых перчаток? Их то и дело что на руках носят; им слава и почтение; они жмут в мазурке чудную ручку, они обхватывают в вальсе стройный стан, и не они ли отличают в большом свете истинное достоинство каждого человека и степень его аристократизма? О перчатках говорят в лучших обществах между погодою и театром, говорят дамы, говорят графини, говорят княгини, молодые и старые, а более молодые.

О бедных калошах никто не говорит, или изредка замолвит о них стыдливое словечко бедный чиновник на ухо товарищу, подняв шинель и шагая по грязи...

Ей-богу, меня всякий раз досада разбирает, когда я подумаю, как странно все разделено на свете! Сколько людей... Сколько калош, хотел я сказать, затоптанных и забытых, тогда как лайковые перчатки с своею блестящею наружностью, с своею ничтожною пользою блаженствуют вполне!

Многие прежде меня писали мелкие биографии разных вещиц: булавочек, лорнетов, шалей и тому подобного. Но они или приписывали им нежные чувства, весьма неуместные в булавах и лорнетах, или вооружали их испытующим оком, сердито следящим за грешными мирскими слабостями. Цель моя другая. Я не представлю вам разрозненных листков журнала какой-нибудь калоши сантиментальной, непонятой каким-нибудь жестокосердым сапогом. Я не стану описывать вам хождения калоши сардонической, наблюдающей все нравы без исключения, даже нравы тех гостиных, куда ее не пускают. Будьте спокойны! Это все слишком старо и было бы в подражательном вкусе; а век наш, в особенности век молодых литераторов, самостоятелен и нов. Я расскажу вам просто историю двух калош кожаных.

¹ Да погибнут те, кто раньше нас высказал нашу мысль, Гете (лат.).

ПРИГЛАШЕНИЕ НА БАЛ

Иоганн-Петер-Аугуст-Мариа Мюллер, «сапожных дел мастер», по вывеске «приехавший из Парижа», а действительно из окрестностей Риги, проснулся однажды очень рано, протянул руки, поправил бумажный колпак, упавший ему на нос, и толкнул жену под бок.

– Вставай, Марья Карловна! Дай мне бритвы, да черные брюки, да белую манишку. Надо отнести надворному советнику Федоренке пару калош, которые обещал я ему к пятнице (а эта пятница была тому две недели).

Я побреюсь, а ты вели подмастерье Ваньке вычистить калоши почище, как зеркало. Слышишь ли? – прибавил с гордостью сапожник. – Пусть полюбуется да посмотрит: работа не русская какая-нибудь, работа чисто немецкая, без ошибки и фальши; не будь я Иоганн-Петер-Аугуст...

Он не успел окончить, как Марья Карловна уже возвратилась с ужасом на лице, с калошами в руках.

– Ванька был пьян вчера, – кричала она, – калоши испорчены!

Бритва упала из рук Мюллера.

– *Cott schwer Noth!*² Калоши надворного советника! *Solche allerliebste Kaloschen!*...³ – Он их выхватил из рук жены. Действительно, делать было нечего. Калоши были испорчены. Правая подрезана сбоку и проколота шилом, а левая облита чем-то нехорошим.

Мюллер был в бешенстве.

– Ванька! – закричал он громовым голосом. – Что это такое?..

Полуглупая-полулукавая фигура Ваньки с заспанными глазами, в затрапезном халате показала в дверях, почесывая затылок.

– Что это такое? – продолжал грозный сапожник, указывая на калоши.

– Не могу знать.

– Как «не могу знать»? Я говорю, что такое?

– А почему же я знаю?

Мюллер, вне себя от гнева, ударил трижды калошами по щекам Ваньки. Ванька завыл, как теленок; Мюллер успокоился.

«Ну, что же мне делать? – подумал он. – Не бросить же калоши! Надворному советнику Федоренке отнести их невозможно: он знаток. Даром пропадут... Хоть бы сбыть кому-нибудь... Да бишь! О намерении приходил музыкант заказывать калоши. Разве ему отнести? Да! да ведь эти музыканты... с них денежек не жди: народ известный! А!.. – заключил сапожник, хлопнув себя по лбу. – В воскресенье рождение Марьи Карловны».

Он завернул калоши в бумажный платок, бросил их под мышку и, надев шляпу набок, потому что он между всеми сапожниками слыл щеголем, вышел на улицу.

С Малой Морской, где жил Мюллер, он поворотил к Синему мосту и пошел в Коломну. В Коломне остановился он у высокого дома с нечистыми воротами, перед которыми дворник играл на балалайке.

– Здесь живет господин Шульц? – спросил Мюллер.

Дворник посмотрел на немца и, отворотившись, отвечал:

– Таких нет.

– Господин Шульц, музыкант.

– Есть какой-то немец, музыкант, что ли, кто их там разберет, этих всех музыкантов! Ступайте в самый верх. Он – так он, а не то ищите в другом месте.

² Наказанье божье! (нем.).

³ Такие Прелестные калоши?.. (нем.).

Вскарабкавшись по узкой лестнице под самую крышу дома, Мюллер остановился у дверей, на которых была прибита бумажка с надписью: «Karl Schultz, musicus»⁴.

Мюллер отворил двери.

Молодой человек с бледным лицом и впалыми глазами сидел, опершись обоими локтями на столик простого дерева, и руками держался за голову. На столике лежало несколько книг и писанные ноты. В комнате все было пусто, лишь в углу несколько соломенных стульев изображали кровать. Стены, когда-то выбеленные, наклонялись под скат крыши. Впрочем, в комнате было пусто и мрачно: тут была нищета, нищета ужасная, во всей своей наготе. Неожиданная картина поразила Мюллера. Он остановился у дверей и не понимал, какое им овладело чувство. Добрый немец, пораженный такою бедностью, оробел и с усилием прошептал вполголоса:

– Калоши ваши готовы...

Молодой человек обернулся и печально посмотрел на сапожника.

– Я вам говорил, – отвечал он, – что я сам за ними зайду. Теперь у меня нет денег.

– Помилуйте, господин Шульц. Зачем вам себя беспокоить? Сочтемся после. А теперь погода сырая, калоши нужны...

Бедный музыкант встал с своего места и взял Мюллера за руку.

– Вы добрый человек! – сказал он.

Мюллер смешался. Совесть его мучила. Он хотел бежать от искушения. Однако как быть? В воскресенье рождение Марьи Карловны. Будут гости.

– Господин Шульц, – прошептал он опять, повертывая шляпу в руках, – у меня... до вас... просьба. В воскресенье рождение жены моей, Марьи Карловны. У нас будут гости. Я желал бы доставить им приятное занятие.

Марья Карловна очень любит танцевать, а играть у нас некому. А так, без танцев, время проходит скучно. Да вот и сапожника Премфефера жена без танцев жить не может.

– В котором часу? – спросил Шульц.

– Да часов в шесть, – продолжал, кланяясь, Мюллер, – часов в шесть. Мы постараемся, чтобы вам не было скучно. А об калошах, пожалуйста, не думайте. Это безделица!.. Ну уж будет сюрприз Марье Карловне!

Обрадованный Мюллер побежал в восторге домой и во всю дорогу напевал разные вальсы и перигурдины.

А бедный музыкант упал на соломенный свой стул, закрыл лицо руками и горько заплакал. «Вот до чего я дожил! – подумал он. – Из пары калош должен я целый вечер играть на именинах у сапожника!..»

⁴ «Карл Шульц, музыкант» (лат.).

ДЕТСТВО

Карл Шульц родился в Германии. Отец его, зажиточный дворянин с немецкою спесью, жил недалеко от Дюссельдорфа в своем имении, где на старости лет он, от нечего делать, сделался хозяином. Жена его давно уже скончалась, а домом управляла ключница, сердитая и злая, под названием Маргариты. Вообще, как нет ничего глупее глупого француза, так нет ничего злее и хуже сердитой немки. Маргарита была женщина лет сорока, высокая, худая, с багровыми щеками, гроза целого дома.

Главное очарование ее для старого Шульца составляло особое искусство стряпать разные кушанья с изюмом и черносливом, до которых старик был большой охотник.

Мало-помалу прибрала она все хозяйство в руки, сделалась госпожой в доме и выслала всех своих противников.

Но в особенности не любила Маргарита маленького Карла, как живое препятствие, которое всех труднее было отстранить. Карл учился в Дюссельдорфе в городском училище, и учился, сказать правду, довольно дурно, как все дети с пылким воображением. Признаться, скучно затверживать глаголы, склонять имена существительные и марать грифельные доски, когда в голове вертятся волшебные замки, рыцари в золотых латах и все чудные видения ребяческой мечты. Карл учился дурно: учителя жаловались; Маргарита уверяла старого Шульца, что сын его негодяй, повеса, годный только для виселицы.

Возвращаясь из школы своей, Карл только и слышал, что толки о картофеле да крупную брань. Это ему надоело: он был одарен душой любящей и нежной; но в то же время гордость его доходила до упрямства. Он был из числа тех характеров, над которыми всесильно слово любви, а угроза немошна.

Чем более его бранили, тем более он отвращался от наук, и слова Маргариты действительно бы оправдались, если б странный случай не открыл ему нового направления.

Однажды он шел по дюссельдорфским улицам с заплаканными глазами: отец ударил его поутру палкой, а Маргарита вытолкала его из дома! Бедный мальчик, с грамматикой под мышкой, остановился перед церковью и призадумался. Участь его была горька: он был один в начале жизни, а душа его просила подпоры. Что делать бедному мальчику? Кто сжалится над ним? Невольно вошел он в церковь, чтоб рассеять свое горе, сел на лавку и начал слушать проповедь. Проповедь кончилась. Орган величественно зазвучал. Мальчик поднял голову и начал слушать. Новое чувство обдало его невыразимой теплотой. Мало-помалу перед ним начал развертываться новый, необъятный мир. Голова его терялась. Ему показалось, что в душе его стало широко, что будто ум его ребяческий мужал с каждым звуком. Он задрожал и заплакал. Назначение его ему было открыто, утешение найдено, цель достигнута: он был музыкантом.

Обедня кончилась. Карл дожидался на паперти, пока маленький органист, в напудренном парике, с очками и бесконечным носом, выкарабкался с верха по крутой лестнице. Карл его остановил.

– Вы играли?

– Я.

– Вы славно играли!

Старичок засмеялся. Нос его показался еще длиннее, а очки на носу запрыгали.

– Я хочу учиться музыке! – подхватил Карл.

– Учись.

– Где вы живете?

– Рядом.

– Я пойду с вами, пойду к вам, буду учиться у вас.

Вы меня сделаете музыкантом?

Большой нос опять засмеялся. Карл пошел за ним.

Органист, смеясь, посадил его за маленькие клавикорды – единственное украшение роскошной комнатки – и начал объяснять ему музыкальные интервалы и все сухое предисловие поэзии звуков. Мальчик едва переводил дыхание; слова органиста врезывались в его памяти; он слушал с почтением и вдруг вскочил с своего стула и обнял старика с большим носом, как он никогда еще никого не обнимал. Старик был тронут. Он был тоже одинок; ему тоже было не с кем душу отвести.

Странное сходство сблизило старика с ребенком. Оба были отчуждены от света – один в начале своей жизни, другой уже при конце; в их положении было что-то взаимное и родственное. Старичок прижал мальчика к сердцу своему, как отец, долго не выдавший своего сына.

С тех пор они были неразлучны; с тех пор маленький Карл каждый день находил средства убежать из школы, чтобы посетить своего учителя, чтобы послушаться, чтобы надышаться его восторженной речью. Старичок был из числа тех людей, которые, пристрастясь к одной мысли, породнившись с одним чувством, ими только дышат и живут: музыка была его мир, его собственность – то, что воздух для птицы. О ней говорил он с почтением, как о таинстве, с любовью, как о верном друге. Но никогда старичок так не воспламенялся, никогда очки так высоко не прыгали на бесконечном носу его, как когда он заговаривал об ученом своем друге, о великом Бетховене. Они учились вместе у Фан-Эндена, жили вместе, были вместе молоды, а потом расстались для того, чтобы бедному органисту умереть в неизвестности, в уголке своей церкви, для того, чтобы Бетховену умереть в горе и нищете, увенчанному двойным венком несчастья и славы. Это благоговение к имени великого музыканта, эту чистую страсть к возвышенной музыке старичок вполне передал Карлу. Посвященный в новое таинство, Карл выучился читать на невидимых скрижалях, говорить языком, доступным не для многих, и возвышать душу до сверхземных созерцаний. С тех пор жизнь его приняла новое направление, с тех пор школьная жизнь показалась ему еще более несносной и отвратительной.

Бедный мальчик был жертвою избытка сил своей души. Он подумал, что одной поэзии для жизни достаточно; он подавил ум чувством, существенность – воображением. Он ошибочно понял свое значение – и погубил себя в будущем. Учители его с новым негодованием объявили старику Шульцу, что сын его по целым дням пропадает без вести и что тетради его вместо латинских переводов и рассуждений о римской истории все исписаны диезами и бемолями. Маргарита торжествовала.

Старик Шульц запретил Карлу показываться ему на глаза. С тех пор возврат на дольную стезю был для мальчика невозможен. Я говорил выше: слово любви могло бы остановить его, переломить его упрямство; угроза только более и более его раздражала: он не просил прощения, он не обещал исправиться – бросил книги в окно и сделался музыкантом.

МОЛОДОСТЬ

Так прошло несколько лет.

Мальчик сделался юношей, органист сделался дряхлым стариком. Жизненные силы его постепенно стали ослабевать; кончина его приближалась. Наконец, после одного большого праздника, где он непременно хотел сам играть на органе и где играл он с глубоким вдохновением, принесли его без чувств домой, и через несколько часов Карл стоял уже, задумчивый и бледный, над его охладевшим трупом. Смерть органиста была вторая торжественная минута в жизни Карла. После первого восторга наступила первая задумчивость. Задумался Карл о бренности земной, об этом странном составе огня и грязи, который называют человеком. В первый раз он с удивлением и ужасом заметил, что в жизни нет ничего существенного, что жизнь сама по себе ничто, что она только тень, тень неосязаемая чего-то невидимого и непонятного. Ему стало холодно и страшно...

О, как дорого дал бы он тогда, чтобы поплакать на груди существа любимого, чтоб утопить в слезах любви новое, ядовитое чувство, которое начало вкрадываться в его душу! Он был снова один, совершенно один. Мысль эта его душила. Он понимал, что в минуту скорби одно только и есть утешение – это созвучие другой души, которая страдает одинаким горем. Он вспомнил тогда об отце своем; он побежал к отцу, чтоб броситься к его ногам, чтобы просить его пощады и благословения, чтоб вымолить его отеческую любовь, чтобы выплакать его отеческую ласку. В доме у отца нашел он торжественную суматоху: по лестнице бежали слуги, в гостиной играла музыка; старик праздновал свадьбу свою с Маргаритой. Он выслал сыну небольшой мешок с деньгами и запрещение к нему показываться.

Что делать Карлу? С сердцем, глубоко уязвленным, он убежал от родительского дома, и убежал далеко от Дюссельдорфа, без цели и желаний.

В жизни бывают бедствия двоякого рода: бедствия положительные и бедствия отрицательные. Первые доступны всем, понятны всякому: потеря имения, смерть ближнего, сердитая жена, мучительная болезнь. Но есть другие бедствия, бедствия, никем не видимые и непонятные, которые сжимают душу, которые уязвляют сердце, давят как камень и душат как домовой. Это бедствия отрицательные, в которых нельзя отдать отчета, которые скрываешь от всех. Мы стараемся и сами укрыться от них, как от хищного зверя; мы призываем в помощь все, что прежде нам ярко сияло, все, что мы горячо и свято любили; мы обращаемся ко всем верованиям нашей души, ко всем светлым нашим воспоминаниям...

Шульц вспомнил о Бетховене. Благодаря покойному органисту Бетховен был для него венцом создания, высшим выражением всего, что только может быть музыкального и поэтического на земле. Он мысленно окружал его лазурным сиянием; он веровал в его славу, как в молитву. Он хотел повергнуться в прах пред чудной его силой и ожидать от неё назначения своему бытию.

Шульц отправился в Вену.

Шум городской, быт столичный, все позолоченные погремушки имели мало для него прелести. Он везде спрашивал о Бетховене; но его и не знали, или знали только понаслышке, как человека, имеющего порядочный бас. «Что ж это? – думал Шульц. – Где храмы, воздвигнутые гению? Где же скрывается сам гений?..»

Наконец, проходя однажды по узкому переулку, увидел он вдали старичка, писавшего что-то углем на стене.

Кругом мальчики указывали на старика пальцем, дергали его за кафтан и хохотали между собою. Старичок не замечал ничего и продолжал писать. Наружность его была самая странная: седые волосы падали в беспорядке до плеч; кафтан коричневого цвета был изношен до невероятности; красный платок, обвитый около его шеи, придавал какой-то фантастический

оттенок глубоким его морщинам и седым волосам. Дрожащей рукой набрасывал он знаки на ветхой стене и вдруг останавливался и наклонял ухо, как будто прислушивался к чему-то.

Шульц принял его за сумасшедшего. Наконец старичок задумчиво улыбнулся и продолжал путь свой вдоль по переулку, опустив голову и в сопровождении веселой толпы, которая прыгала и кувыркалась вокруг него.

Карл взглянул на стену, и чувство музыкальное закипело в груди. В этих безобразных знаках увидел он новую оригинальную мелодию, что-то небывалое и гениальное.

– Кто этот старичок? – закричал он проходящему.

– Музыкант Бетховен.

«Бетховен!..» Шульц бросился за стариком. Старичок был уже на конце переулка и медленно, медленно скрывался за стеною. В эту минуту Шульцу показалось, что вся слава земная промелькнула пред ним тихо и таинственно, как какая-то страшная тень в рубище. Бетховен скрылся – и более Шульцу не привелось его видеть. Бетховену недолго оставалось жить, и мысль его, теряясь в необъятном, уже стряхнула с себя все земное.

Какие звуки непостижимые и невыражаемые должны были раздаваться тогда в душе его! Казалось, он был лишен слуха для того, чтоб лучше и полнее прислушиваться к внутреннему голосу гения своего, чтобы в восторге внутреннего песнопения окончить жизнь свою, как последний возглас гимна чудного, никем не слышанного...

И тогда один только Шульц в этой роскошной Вене, столь славной своей любовью к искусству, один Шульц понял, что было великого в кончине великого мужа.

КНЯГИНЯ

Извините меня, строгая моя читательница, если я так скоро перебегаю от одного впечатления к другому, переносу вас так быстро от одного портрета к другому портрету. Мысль моя скачет на почтовых, а перо тащится на долгих; не знаю, право, как их согласить. Впрочем вы, добрая читательница, вы привыкли видеть, как все в жизни переменчиво и сбивчиво. Зачем же ожидать вам от повести моей более толка? Не правда ли?..

В одном доме с Карлом жила в бельэтаже русская княгиня, приехавшая из Петербурга. Княгиня Г. (назовем ее хоть этой буквой) имела большое состояние и была известна своей любовью к искусствам. О живописи говорила она с восхищением, о музыке едва не с нервными припадками. В целой Европе слыла она женщиной поэтической. Ей было сорок лет.

В сорок лет, что ни говорил – Бальзак, женщина в неприятном положении. До сорока лет ей достаточно ее лица; в сорок лет ей нужно особое значение, особенный характер: ей нужно прославиться какой-нибудь индивидуальностью, чтоб избежать общей, пошлой участи всех великочепечных бостонных игрищ. В нынешнее время выбор этой индивидуальности весьма затруднителен.

Ханжество утомительно; остроумие опасно; политика не нужна; литература *mauvais genre*⁵: остается любовь к изящному. Княгиня ею вооружилась и по ней составила себе особый род жизни. Гостиная ее сделалась сборищем всех талантов и всех знаний. В ней живописец давал руку герцогу, виолончелист дружился с флейтою, актер спорил с поэтом. Знатность и достоинство, дипломатия и музыка сталкивались каждый вечер на художественном базаре русской путешественницы. Сказать правду, княгиня была нрава положительного, сухого, совершенно в противоположность роли, которую она играла; у нее все было обдуманно и начертано наперед, и энтузиазм ее был заготовлен, и каждый ее поступок был рассчитан заранее. Таким образом, она решила, что для аспазийского ее салона необходима вывеска. Вывеской, как известно вам, моя читательница, называется хорошенькое личико с пышными локонами, которое разливает чай и улыбается. Выбор княгини пал на Генриетту***. Бедная Генриетта вступила в это несчастное звание, среднее, между дочерью и горничной, которое называется *demoiselle de compagnie*⁶

⁵ Здесь: низкопробна (фр.).

⁶ Компаньонка (фр.).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.